

СОДЕРЖАНИЕ

Гений места. <i>Genius loci</i> (Воспоминания о XX веке)	6
Возникновение понятия «романтический»	59
Карамзин в Лондоне	64
Наш Пушкин	73
Лермонтов вчера и сегодня	80
«Восковые фигурки» Гоголя	89
С.П. Шевырѐв о юморе Гоголя	108
Путь Ивана Киреевского	111
Окраинный вопрос в мирозерцании Ю.Ф. Самарина	126
Катков и Победоносцев	139
Тургенев и американские писатели	143
Лев Толстой и несть ему конца	169
Достоевский в переводе Констанс Гарнет	192
Гений места у Чехова	210
Споры о Розанове	220
Мой Андрей Платонов	242
Неведомый Пришвин (К публикации Дневников)	255
Набоков и Розанов	262
Россия Набокова	267
К истории понятия «Серебряный век»	276
Катастрофа 1917 года и литература	280
Военный дневник (Воронеж – Киев. 1942 год)	297
Дневник 1943–1944 гг. (Отрывки)	382
Библиография трудов А.Н. Николюкина	384
Список первых публикаций	390
Приложение. С.Р. Федякин «Евгения Гранде» Бальзака – Достоевского	392
Указатель имен	395

ГЕНИЙ МЕСТА. GENIUS LOCI (Воспоминания о XX веке)

Тот век прошел, и люди те прошли.

М. Лермонтов

С бровей слетела стая сов.

А. Пушкин

I

Совы воспоминаний неотступно сопровождают нас всю жизнь. Прежде всего представляется место происходившего. И так всегда. Без места для меня нет памяти о бывшем. Это своего рода гений места (Genius loci), о котором Вергилий писал в «Энеиде» (V, 95). Нет места без своего гения. Эдгар По взял эти слова в качестве эпиграфа к своему рассказу «Остров феи».

Будущее еще не наступило. Настоящее, неспешно текущий XXI век, ежеминутно скатывается в прошлое. Вся жизнь – это то, что сохранилось в памяти человека. Радостные и горестные минуты жизни помнятся вместе с местом, где все происходило. Такова любовь, всегда хранящая свой гений места. Воспоминание всегда влечет за собой образ места, выраженный любым способом, каким пожелает память. Гений места порождает воспоминание.

Я принадлежу к тому довоенному поколению, которое почти все ушло из жизни. Трудно бывает убедить сегодня, заставить понять, как все воспринималось в те далекие времена. Объяснить четырем последующим поколениям – шестидесятникам, людям брежневских времен, перестройки и молодой поросли нынешних лет. Но будем пытаться.

Мои родители прожили первые семь десятилетий XX в. Мне досталось прожить последние семь десятилетий XX в. Произошел обмен памятью, и вот передо мной предстает весь век, сначала памятью родителей, затем моей собственной. Более того, перед моими глазами четыре поколения – от родителей до дочери и внучек, Марии и Ольги.

XX век так далек, что для молодежи он представляется в одном ряду с веком Петра Великого или Ивана Грозного. Вспоминать о событиях XX в. – это то же, что рассказывать о Куликовской или Бородинской битвах. Свидетели были, да умерли.

Мне пришлось застать период большевистского террора 1937 г., о котором нынешнее поколение может только читать в книгах. Это было время, когда сажали в тюрьмы близких мне людей, родную сестру моей матери Галину (потом расстрелянную как японскую шпионку), отца моих друзей – соседских ребят. И главное – что это воспринималось как случайная ошибка, которая, бесспорно, будет исправлена советской властью, которой все дозволялось, даже ошибаться. Никаких разговоров о массовости таких явлений. Просто частные случаи.

В каждой семье таятся свои родовые легенды, скелеты в шкафу. Моя бабушка по материнской линии Екатерина Аполлоновна в 1939 г. жила у нас в Воронеже и рассказывала мне, мальчишке, составлявшему в особых тетрадах историю СССР, что ее бабка Матильда Карловна была из Голландии. При походе в Европу в 1815 г. русский офицер вывез ее в Россию. Памятна осталась ее манера поведения. Она была маленького роста и когда становилась недовольна поведением своего супруга, говорила: «Милый друх, подойди ко мне». Он приближался, и она требовала: «Милый друх, поставь меня на стуль». Он покорно это исполнял, ставил ее на стул, и она отвешивала ему пощечину. Затем просила: «Милый друх, сними меня со стуля». Тем не менее семья была многодетной и дружной.

Прогуливались как-то с отцом около Московского университета, куда он поступил в 1915 г. (вход в приемную комиссию был с Большой Никитской, ныне заделанная дверь на углу с Романовым переулком). На другой стороне улицы – большие ворота, ведущие во двор Университета. У этих ворот летом 1917 г. проходил шумный многоголосый митинг, сборище студентов. «Ты принимал участие?» – спросил я. – «Нет, меня это как-то не интересовало», – ответил он. Интересовали только научные занятия, лекции, которые уже прекращались.

Это была позиция отца, ставшая близкой и мне, когда через 30 лет в том же университете, на филологическом факультете, начались обсуждения, вернее, партийные проработки преподавателей и их учеников, обвинявшихся в космополитизме, принижении значения русской литературы и проч. В наше время «споры» проходили, конечно, не на улице и имели тяжелые личные последствия для обвиняемых профессоров, которые незаметно исчезали в места не столь отдаленные. Иным после смерти Сталина удавалось возвращаться. А место у ворот, ведущих в университетский двор, из гения памяти отца перешло и ко мне, жившему в совсем иную нравственную эпоху.

Теперь часто говорят о примирении белых и красных, единении нации как общего гения места, общей истории страны. Когда уйдут из жизни те, чьих близких уничтожили комиссары в красных шлемах, единение, конечно, состоится. Это завещал нам Пушкин, который сказал: «...ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

После Пушкина Россия проиграла две тяжелые войны, освободила балканские народы, но большевики заставили ее проиграть и Первую мировую. Слабовольный царь оставил Россию на безвластие, которым воспользовались те же большевики. Сначала пять лет они громили «до основания», затем сами же восстанавливали. Захватив страну на семь десятилетий, они привели ее к естественному самораспаду (точно по сроку, предсказанному философом В. Розановым). Нелегко создавать новую Россию с таким наследием. Была потеряна Россия, утрачены лучшие люди, ее составлявшие. Вот такой Россию Бог дал нам ныне. И Пушкин первый поставил вопрос о гении ее места таким образом. Иной истории нам не надо.

Воспоминания матери, Нины Аполлоновны Тимофеевой, возвращали меня к 1920 г., когда она поступила учиться в Томский университет (ее сестра Галина в анкете чистосердечно написала, что из дворян, и как «лишенка» не была принята в этот университет). Ныне молодежь едва ли слышала о «лишенцах», о законе, в соответствии с которым формировались в те годы советская культура и наука. Вскоре моя матушка была направлена по подразверстке с группой красноармейцев в деревни для отбора зерна у крестьян. Ее назначили учетчицей поступающего зерна и других продуктов. Нередко происходили вооруженные столкновения с крестьянами. Однажды она пострадала в происходившей борьбе, и ее вернули в

Томск. Приехав после смерти матушки в Томск для оппонирования кандидатской диссертации, я с интересом ходил по металлическим ступеням здания Томского университета, где когда-то она училась. Каждое время оставляет свой след для потомства. Хорошо, если след этот бывает добрым и его охотно припоминаешь.

Гений места значил чрезвычайно многое для Достоевского. Герой «Подрустка» признается: «Странное свойство: я способен ненавидеть места и предметы, точно как будто людей. Зато есть у меня в Петербурге несколько мест счастливых, т.е. таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив, – и что же, я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше нарочно, чтобы потом, когда буду уже совсем один и несчастлив, зайти погрустить и припомнить»¹.

Память сохранила гений места из моего раннего детства. В начале 30-х годов прошлого века на даче при станции Графское (в 40 км от Воронежа) мы с моим другом Мишкой на улице после дождя (и сейчас еще помню эту улицу) нашли большой химический карандаш (были такие тогда). И никак не могли решить, чей он – его или мой. Иной категории собственности для нас не существовало. Человек – прежде всего собственник. Вот почему было невозможно устроить коммунизм в целой стране. Этот политический, экономический и идеологический обман нельзя было осуществить даже силой кровавого принуждения, как то было в СССР.

Другим гением места стал двор жилого корпуса Воронежского университета, где я жил и где властвовала стая ребят старшего возраста. Существовали неписанные законы двора начала 1930-х годов, основанные на праве сильного и власти умного. Целая республика мальчишеского задора. Однажды вожак (я еще не ходил в школу, а он был старшекласником) попал в больницу. Мы, маленькие, взиравшие на него снизу вверх, рассказывали друг другу, что он, желая похвастаться (перед девицей) военной саблей, вложил ее с размаху не в ножны, а в свой живот. Осталась в памяти скамейка во дворе, где мы обсуждали это трагическое событие.

До войны мне приходилось стоять в очередях в магазинах, чтобы получить макароны, сахар, колбасу. Бывали забавные истории. Мне было 11 лет, я занял очередь в соседнем магазине и отправился домой. Вернувшись через часок (очередь занимали с утра), я стал искать свое место и повторял, что занял очередь «за женщиной в синей юбке». Эти слова удивили стоявших вокруг

¹ Достоевский Ф.М. Полное собр. соч. Л., 1975. Т. 13. С. 115.

женщин. «Такой маленький, а по юбкам женщин определяет!» – добродушно заметила одна. Но я настаивал на своем, что занял за женщиной в синей юбке. В памяти остался гений места: вход в магазин и длинная очередь на улице. Получил ли что – не помню, да это и не важно.

В шесть лет я услышал об убийстве Кирова. До тех пор была частная, домашняя жизнь мальчишки. Все знали, конечно, как Будённый и Чапаев били белых врагов. А тут вдруг на слуху появилась новость, что враги есть и вокруг нас. Это стало основой для «всенародного» осуждения «врагов народа» во время судебных процессов 1936–1938 гг. До сих пор помню угол дома на перекрестке улиц Карла Маркса и Фридриха Энгельса (до большевиков в Воронеже они назывались Садовая и Малая Дворянская), где висел флаг с черной каймой с трех сторон (позднее кайму делали только с одной стороны). Такого я никогда раньше не видал. Гений места сохранил в памяти только это, не понимая еще, что последует за убийством. Один дом с траурным флагом по Кирову. Просто еще одна дата. Как отмечавшийся тогда совместно день 22 января памяти 9 января 1905 г. и смерти Ленина. Еще был день Парижской коммуны 18 марта. Было время, когда и 30 февраля существовало ради тогдашних шестидневок. Много чего было и прошло.

Летом 1936 г. я жил с родителями на даче в Сомово, пригороде Воронежа. Было «первое советское» солнечное затмение, которое я с двоюродным братом Виктором наблюдал в шесть часов утра через закоптелое стекло. Запомнилась приступка у стены дачи, на которую с вечера мы выставили заранее закопченные стекла. Утром Луна вдруг полностью закрыла Солнце. Всё стало холодно и темно. Таинственно и торжественно. Вокруг страшно, хотя все шло «по плану».

Затмение было объявлено большим советским праздником. Потому происходили демонстрации радости, прославление партии и народа, о чем писали тогда газеты. То же было незадолго перед тем с гибелью парохода «Челюскин» и спасением оказавшихся на льдине людей (кроме сопровождавшего «Челюскина» парохода «Пижма», на котором везли заключенных на новые рудники олова на Чукотке; но об этом тогда никому не говорилось). Трагедия завершилась грандиозным чествованием героев в Москве, а я, сидя за столом отца, рассматривал в «Известиях», которые неизменно получали в нашем доме, картинки о героических спасателях «Челюскина». Бернард Шоу как-то заметил, что Советский Союз – удивительная страна, где катастрофа, гибель неизменно превращается в празднование победы.

Жизнь изобиловала такими радостными событиями. Они уживались со случайными рассказами иного рода. Так, моя няня, молодая девчонка, отец которой был раскулачен и выслан в Котлас, рассказывала, что летом 1933 г. была страшная жара, неурожай, потрескавшаяся земля, голод. Идя по дороге, она увидела в одной из трещин серебряный полтинник, и это спасло ее от голодной смерти.

На другой день после солнечного затмения произошло другое знаменательное событие. Рядом с дачей была узенькая улочка, и по ней шла женщина-соседка и громко говорила, что по радио сообщили о смерти Максима Горького. Я сидел за забором в садике, и именно это место запомнилось мне в связи с известием о смерти Горького, имя которого я уже хорошо знал. О солнечном затмении было известно заранее, а смерть Горького произошла неожиданно. Вот и вся разница между двумя важными событиями, рассуждал тогда я.

Никто не узнал, как и почему умер Горький, что делала баронесса Закревская-Будберг в ночь с 17 на 18 июня 1936 г. в спальне больного. Не сказала она, естественно, этого и 26 марта 1968 г., когда сидела рядом со мной в дирекции Института мировой литературы, где была почетной гостьей на праздновании 100-летия со дня рождения великого писателя. Каждый уносит с собой в могилу память о прошлом. По старческим глазам баронессы можно было заключить, что ей известно многое, о чем присутствующие и не помышляли. А через день, 28 марта, в Кремле во Дворце съездов проходило торжественное празднование 100-летия со дня рождения Горького. От Института мировой литературы я сидел на балконе и сверху хорошо видел все руководство страны в президиуме. Вдруг кто-то подошел к главному и сказал что-то. В президиуме возникло легкое волнение, тут же затихшее. На другой день мы узнали, что погиб Юрий Гагарин. Вот чем и каким гением места запомнилось мне чествование 100-летия Горького. Время идет быстро. И прошло 150-летие Горького, но моего гения места там уже не было.

У всякого мальчишки были свои большие и малые мечты. Большая – иметь детский автомобиль с настоящими педалями – так никогда и не осуществилась. А вот другая воплотилась: к торжественному празднованию 20-летия Октябрьской революции. Все мальчишки мечтали тогда иметь галифе. Нынешние ребята могут и не знать, что это брюки, расширяющиеся по бокам; их носили в те военные годы. Вот такие – цвета хаки – я и получил ко дню рождения. Проносив их целый счастливый день, я к вечеру понял, что они неудобны в жизни.

Насыщенность 1930-х годов самыми разными событиями создавала впечатление, что все происходит впервые. Гений места стал гением времени. Впервые Чкалов полетел через Северный полюс в Америку, впервые началась война против фашизма в Испании. Победа под Гвдалахарой, о которой писали газеты и шумело радио, воспринималась как наша собственная. Трагические судьбы людей, вовлеченных в испанскую войну, не могли предвидеть или понять люди тех лет. Гений будущего не мог существовать. Об Испании запомнилось сообщение о взятии Теруэля, как гений памяти, оставшийся в детстве наряду с расстрелом Тухачевского и других «врагов народа». Русский язык помогал домысливать: неужели всем было неясно, что человек с такой «дурно пахнущей» фамилией, как Тухачевский, конечно, враг народа.

Радио 26 июня 1940 г. известило об отмене шестидневок и переходе на семидневную неделю. Это я запомнил на определенном месте, ставшем гением места. То было под старинными липами в Новоживотинном, усадьбе Веневитиновых на Дону севернее Воронежа. Там находилась биостанция Пединститута, которой руководил мой отец, там я жил каждое лето с 1937 по 1942 г.

Старая помещичья усадьба Веневитиновых Новоживотинное (до войны писали Ново-Животинное) – это золотой гений моего детства. В конце мая 1937 г. меня привезли в открытом грузовике в эту бывшую дворянскую усадьбу на берегу Дона. Машина остановилась перед входом в двухэтажный барский дом, где находилась школа. Я спрыгнул на землю, и это место перед главным парадным входом осталось в памяти до сих пор. Понятие золотого детства для меня – липовые аллеи этой усадьбы, маленький служебный домик в парке, где мы жили, яблочные и грушевые сады, сладкие вишни, которые привлекали не только меня, но и ребят из деревни за усадьбой. Центром биостанции был большой пруд, разделенный вдоль бревенчато-земельным забором на два пруда. За вишневым садом были остатки каменной ограды, окружавшей усадьбу, а за ней – родник на берегу Дона, куда каждый день ходили за свежей водой. И ковыль по высокому нераспаханному берегу Дона.

Посередине Дона был заросший ежевикой остров, куда мы, мой двоюродный брат Виктор и друг Мишка, отправлялись на лодке на целый день. Конечно, мы читали уже о Томе Сойере и его острове, но это было совсем другое. Это было гением места нашей свободы, где не было никаких законов взрослых. Деревня была намного ниже по течению, за усадьбой, и в жару сюда никто не

заезжал. Мелких пескарей можно было ловить руками на длинной песчаной отмели, а настоящие переметы с крючками мы ставили через все течение реки. Однажды обнаружили чужой (выследили вечером) и попытались снять чужую рыбу. Но нам помешали.

Как-то летом перед войной в этой заброшенной усадьбе Веневитиновых я услышал от родителей, что в Париже умер Фёдор Шаляпин. Во мне шевельнулось горькое чувство, что он там. Сегодня в Москве торжественно и официально хоронили рядом с могилой Шаляпина великого певца Дмитрия Хворостовского. Лики двух разных эпох и стран.

В августе 1824 г. в свое имение Новоживотинное приезжал поэт Дмитрий Веневитинов и в письме сестре Софи сообщал: «Что касается деревни, то о ней я буду говорить в каждом письме и, по мере того, как будут возникать впечатления. Скажу вам только, что с восхищением я вновь увидел Дон, и не буду удивлен, если его волны станут для меня волнами Иппокрены. Я даже не могу еще говорить о нем. Чувство слишком сильно, надо ему дать успокоиться».

И уже в следующем письме Веневитинов обращается к памяти своего раннего детства в этом имении: «Воспоминания детства носят на себе отпечаток радости и веселья, но я нашел здесь только тень прошлого. Сады превратились в леса яблонь, вишневых и грушевых деревьев всяких сортов, одним словом, природа тут по-прежнему прекрасна, она одна оправдала мои ожидания, но совершенно не видно следов над нею работы и, говоря аллегорически, искусство заснуло в объятиях лени»¹.

Когда через 40 лет я вновь приехал в Новоживотинное, то тоже нашел лишь «только тень прошлого». Но эта «тень» не изгладила из памяти пяти светлых летних сезонов, проведенных в этом божественном месте. Но гений места, которое я посетил вновь, решил посмеяться надо мной.

Во времена моего детства не было мобильных телефонов. Да не было в Новоживотинном и обычного телефона. Просто родители, уезжая в город, договаривались со мной, что вернуться в пятый день существовавшей тогда шестидневки, когда они придут на автобусе по Задонскому шоссе. Я обещал их встречать на повороте с шоссе в сказанное время. В пятый день шестидневки я заранее добирался до нужного места, ложился на траву и ждал. В этом гении места я понял, что все великие открытия делаются, когда есть свободное время. Ньютон лежал под яблоней, Архимед

¹ Веневитинов Д.В. Стихотворения. Проза. Письма. Воронеж, 1985. С. 221.

купался в ванной. Ожидая автобус, я рассматривал ползавших в песке между травой божьих коровок. Взобравшись на стебелек травы, божья коровка улетала. Когда же я насыпал на другую песчаную пыль, она не могла лететь и падала вниз. Я повторил опыт, и божья коровка, поняв, что лететь не может, вдруг задними ножками очистила свои крылышки и улетела. Я был поражен своим открытием. Позднее жалел, что не запатентовал его. Наверное, потому, что подошел автобус и родители вышли из него.

Много лет спустя я пришел на наш остров с теми же, но уже постаревшими друзьями детства. Пришел, потому что узкая и быстрая протока между островом и правым берегом заросла, присоединив остров к берегу. Мы осматривали наши старые места, когда я заметил, что к берегу около нас причаливает лодка с тремя мальчишками того же возраста, в котором мы приезжали сюда. Меня поразила существенная разница. В дружеском общении между собой у них был сплошной безысходный мат, которого мы в свое время не слышали. И я понял, что это уже их гений места.

Весной 1939 г. матушка взяла меня с собой в Ленинград. С Петроградской стороны 10-летний мальчишка на трамвае самостоятельно доехал до оперного театра; перед самым началом «Евгения Онегина» мне продали билет, как оказалось, в царскую ложу. Войдя в театр (он назывался тогда Кировским), я стал спрашивать, где мое место. Дежурная справа посылала меня налево. Когда я приходил в конец левого фойе, меня посылали направо. Так продолжалось несколько раз, а спектакль уже начинался, – пока я не догадался, что моя ложа посередине. Гений места, связанный с царской ложей в Мариинке, так запомнился мне, что после войны я, тогда студент Ленинградского университета, часто посещая балеты Лепешинской и Сергеева, каждый раз с памятью о прошлом взирал на вход в центральную ложу. Если бы еще пришлось побывать в этом театре (что едва ли возможно в моем возрасте), то прежде всего подошел бы к своему гению места.

Памятным местом остался навсегда Медный Всадник на Сенатской площади. Вскочив под ноги коня, я в свои мальчишеские годы сразу определил, что это кобыла, но дежурный милиционер прогнал меня. Другим чудищем был длиннейший маятник Фуко, раскачивавшийся в центре собора Исаакия.

Такой же гений места остался у третьей колонны в Ленинградской филармонии, куда девицы из нашей университетской группы водили меня по входным билетам слушать Пятую симфонию Чайковского в исполнении Е.А. Мравинского. А однажды у

той достопамятной колонны я стоял на вечере знаменитого артиста Александринского театра Ю.М. Юрьева, через год скончавшегося. Человек всю жизнь оставляет после себя следы памяти; запечатленными остаются они лишь для него самого. Такой след остался и от выступления в зале на Старо-Невском проспекте приехавшего из Москвы знаменитого баса А.С. Пирогова.

Человек, оставляющий навсегда или надолго место своего гения, умирает для этого места. Не существует уже тот, кто дышал, чувствовал, думал здесь. В другом месте появляется новый человек, хранящий память о том, чего уже не существует. Мы храним память об умерших наших близких, с которыми недавно еще (или давно) реально общались. Так и человек, покинувший место своей жизни, в памяти общается с тем, кто обитал в этом месте ранее, т.е. с прежним собой. Человек обманчиво уверен, что он остался тем же, когда все вокруг изменилось. Как будто он скала, не подверженная ветрам времени и играм погоды. Так жить, конечно, легче, – не задумываясь о том, что к прошлому возврата нет и если все вокруг переменялось, то и сам человек не может оставаться тем же. Случайно вернувшись в прошлое место, видишь, что прошлый гений уже здесь не живет. Более того, тот, кто жил здесь, уже не существует, умер. Хотя этот человек – ты, еще живущий, но в совершенно ином мире. Такое впечатление и возникло у меня, когда я приехал ненадолго туда, где прошло мое детство. «Домой возврата нет», – сказал когда-то большой писатель. Люди знают это, но все же наперекор всему пытаются прыгнуть в свое прошлое, особенно если оно было счастливым.

Главный интерес в жизни сложился у меня к девяти годам, в дни Пушкинского юбилея 1937 г. Гением места стал сам поэт, однотомник которого мне подарили летом, хотя главным была для меня дата 10 февраля, когда все газеты вышли с портретами Пушкина. В однотомнике, который привезли мне в подарок в Новожиловтинное, были вырваны страницы. По содержанию (оно оставалось) я сразу установил, что то были страницы с «Гавриилиадой». Я легко нашел их в ящике стола в соседней комнате, но чтение поэмы не вызвало у меня никакого интереса. Мой ум еще не был готов к такой эквилибристике.

В те годы я стал собирать портреты писателей. Это дело с головой захватило меня. Ничто иное так не интересовало меня. Вскоре я стал вести список прочитанных книг. Когда позднее про-

читал первую книгу Льва Толстого – это был «Круг чтения», – то выхватил из нее главную мысль: «Читайте прежде всего лучшие книги, а то вы и совсем не успеете прочесть их». Выбор этих «лучших» книг и составил содержание всей жизни.

После Пушкинского юбилея у меня появился особый интерес к печатному слову. Я сочинял рассказы о приключениях, очевидно, под впечатлением о похождениях Тома Сойера и Гека Финна. Герои повести, которую я стал писать, имели имена Ян, Сима и Коля. Из пространного описания странствий бежавших из дома ребят мне запомнилось только начало, потому что над ним смеялся и повторял его мой брат Виктор. Собираясь бежать из дому, мои герои взяли с собой «краюху хлеба, колбасу и щепотку соли». Эта «щепотка соли» стала как поговорка у нас. Я понял, что такую повесть никто не напечатает, и обратился к другому жанру.

В воронежской пионерской газете «Будь готов!», на которую подписались для меня родители, печатались кроссворды, которые я любил разгадывать. И вот я, читавший об истории России в дедовской Большой энциклопедии Южакова (школьных учебников истории тогда еще не было), сочинил исторический кроссворд и отправил в редакцию этой газеты. Вскоре мне пришло приглашение навестить редактора. С волнением шел я к запомнившемуся навсегда новому гению места – на углу Плехановской (бывшей Московской) улицы. Поднялся на какой-то этаж. Меня встретил весьма приветливый молодой редактор, спросивший после краткого общего разговора: «А вот тут у тебя есть “русский царь” и ответ: “Николай”. Это ты имеешь в виду Николая второго?» По интонации редактора я понял, что мой кроссворд напечатан не будет. Я поблагодарил и обещал переработать. Больше к жанру кроссворда я никогда не обращался.

Но осталось стремление к изданию собственной газеты или журнала. Времена Пушкина и Ивана Киреевского, издававших свои журналы, было далеко позади, но я еще ничего об этом не знал. Мы с братом решили делать домашнюю настенную газету: он был художником, оформлявшим внешний вид, а я составлял тексты из двух газет, получаемых в нашем доме, – московских «Известий» и воронежской «Коммуны». Читателей (домашних) я заставлял читать мою газету. Газета, выпускавшаяся ко всем праздникам (Новый год, День Красной армии, День Парижской коммуны 18 марта, 1 Мая – летом перерыв – и снова 7 Ноября, День Сталинской конституции 5 декабря). В 1939 г. для газеты была сделана специальная большая рама (метра на полтора) с ограничи-

телями для заглавия, эпитафия и четырех статей. Для заглавия газеты я выбрал самое важное слово в нашей стране. Слово это было «Ленин». Для эпитафия (ведь советские газеты выходили тогда под лозунгом-эпитафием: «Пролетарии всех стран, соединитесь!»), как максималист по характеру, я выбрал статью новой конституции, которую я разыскал среди множества неинтересных мне статей. В сокращенном виде она выглядела так: «Статья 133. Измена родине карается по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние». Очевидно, образ французской гильотины витал надо мною.

Может, вы подумаете, что это мой выбор? Так думалось мне тогда, на самом деле это был выбор окружавшей меня жестокой системы, которую я ощущал изнутри. Страна ликовала в борьбе с «врагами народа». Были школа, газеты (карикатуры Бориса Ефимова в «Известиях») и кино. От «Чапаева» до привлекшего меня своим названием фильма «Привидение, которое не возвращается», который я в 10 лет сам пошел смотреть на Большом проспекте Петроградской стороны в Ленинграде. И оказался, как нередко со мной бывало, обманутым. Вместо привидений я увидел бездарный фильм о нефтедобыче и борьбе рабочих.

Время шло. Наступил конец 1939 г. с всенародным празднованием 60-летия Сталина. Конечно, оно еще не сопровождалось, как в декабре 1949 г., многомесячными публикациями в газетах тысяч и тысяч приветствий от всех организаций и предприятий Страны Советов. Но в 1940 г. мне, как советскому школьнику, стало ясно, что теперь главное слово в стране звучит: «Сталин». Так мы и переименовали газету. Ожидалось, что скоро будет решение о начале летосчисления с 1917 г.

Говорят о страхе в сталинские времена. Говорят те, кто родился после войны, оглядываясь на прошлое. Я же родился в 20-е годы. Как человек сложился в 1930-е годы. Кто рождается в тюрьме и живет в ней 25 лет, подчиняясь законам тюрьмы, тот считает эти законы единственно возможными. Солдат в казарме, как и советский студент в университете времен Сталина, ощущал не страх, а понимание того, что он живет «по правилам». Он знает и видит, к чему приводит нарушение этих правил. Это происходит рядом, за это исключают из университета или высылают в лагерь. А он хочет получить хотя бы «советское образование», бесплатное, казарменное и основанное на марксизме. Страх возникает позднее. Кошмар существования людей представлялся тогда советским раем, завоеванным в революции.

После страшных процессов 1936–1938 гг., особенно расстрела Тухачевского, впечатлившего мальчишку, не чувствовавшего никакого страха (его портрет я, как и все школьники, тщательно чернил в учебнике 1937 г.), наступило время, вернее, вводилось властями представление, что наконец-то все стало «чисто» в стране без «врагов народа». Это прямо «вitalo» в воздухе и так насаждалось, что этого не мог не ощущать даже простой школьник. Вот такой был гений времени.

После марта 1938 г. споров или открытых разговоров, даже дома, ставивших под сомнение проведенную расправу с «врагами народа», быть не могло по природе. Не говорю об отдельных случаях. Страна, народ был иной, что и понять-то современному человеку по существу, тоже «по природе», уже невозможно, как невозможно вернуться в прошлое.

Когда появилась конституция 1936 г., меня задело одно обстоятельство, которое никто не мог мне объяснить. Там была статья: «За каждой советской республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». Я понимал, что не могу выйти из школы, где учусь, не могу выйти из города, если родители не переедут в другой. Не могу сам выехать из страны, если не разрешат, как не разрешили Пушкину. А почему – целая республика может выйти? Никому не было известно, как это может быть, до тех пор пока Москва не вышла из СССР и Российская Федерация не получила свою самостоятельность. Но это было впереди, а пока, когда началась война и немцы пришли в Воронеж, пустую рамку газеты я заложил за дедовский сундук, на котором она красовалась до тех пор. Но мне все равно почему-то казалось, что немцы, войдя в комнату, сразу догадаются, что газета называлась «Сталин», и изрубят ее на куски. Этот кованный дедовский сундук, стоявший в моей комнате, тоже на время стал гением места, утратившим свой первоначальный смысл.

Моя жизнь с книгами складывалась по книгам. Были у меня книги о Гулливере, Мюнхгаузене, Робинзоне Крузо, сказки Пушкина, Андерсена, Гауфа, братьев Grimm. Позднее Том Сойер, Маугли, Эдгар По. В раннем детстве меня прельстил красивый синий с золотом переплет книги «Записки кота Мурра». У нас был большой сибирский кот Пупсик, которого я очень любил, но его украли цыгане. Он был ласков и легко шел на руки. А тут записки другого кота, которого я мог бы сравнить с Пупсиком. Книга лежала в коридоре квартиры нашей соседки Веры Ивановны Бухаловой, переехавшей в 1918 г. вместе с профессорами Дерптского (ныне Тарту-

ского) университета в Воронеж. Стояли большие ящики с книгами, вероятно, неразобранные с дней переезда, и сверху лежал этот таинственный Мурр. Родители нередко водили меня в гости к Вере Ивановне. Однажды, уходя один из ее квартиры, я загляделся на эту книгу и взял ее. Если бы попросил, Вера Ивановна, конечно, отдала бы книгу Гофмана. Но я решил действовать сам. Это все и погубило. Родители скоро обнаружили мое приобретение и потребовали, чтобы я вернул и извинился. Я долго упряился, но в конце концов повиновался. Подошел к злополучной квартире, позвонил и, протягивая книгу, тихо сказал: «Вот, я нечаянно взял эту книгу». Как я узнал потом, Вера Ивановна после этого не стала звать меня в гости, и я был наказан. Горше было то, что я, кроме картинок, не прочитал ни многочисленных предисловий, которыми славится эта книга, ни слов Эгмонта о сладостной привычке бытия, которыми открываются «Житейские воззрения кота Мурра». Но осталось то место, память о том месте, где лежала книга о коте Мурре.

Представление об уходящем моменте, о том, что настоящее через мгновение станет прошлым и останется только гений места, память о пережитом, – все это складывалось с детства. Я помню себя в этой скоротечной жизни, с тех пор как летом 1931 г., в три года, болел малярией в станице Нижнечирской. Большая дача, целый двухэтажный дом сестры моей матушки – Валентины Разумовой. Теперь этой станицы нет. Она ушла на дно Цимлянского водохранилища, но иногда я открываю старый довоенный атлас и показываю гостям все, что сохранилось от тех лет, – географическое название. Вероятно, это был первый гений места, посетивший меня, ибо пока у человека нет сознания, не может быть и гения места. На огромной, как мне, маленькому, казалось, террасе стояла детская кроватка, покрытая сверху марлей. Я лежал в ней и настойчиво требовал, чтобы отогнали комариков. Очевидно, это произошло оттого, что малярию разносят комары, сказали мне, и в полубреду при высокой температуре мне чудились комарики. Я помню в углу террасы большую кучу арбузов и дынь небывалой величины. Перед обедом мне поручалось подкатить арбуз и дыню к столу.

От потока ранних воспоминаний сохраняются застывшие кубики льда, прозрачные и не меняющие форму. От деда, глазного врача, умершего после того, как большевики отобрали у него дом, остались тяжелая мебель, книги. Да еще граммофонная пластинка с изображением собаки, слушающей граммофон с надписью: «Голос ее хозяина». До войны я вместе с братом Виктором часто заводил эту пластинку на новеньком патефоне. С любопытством прислу-

шивались мы к такому далекому, дореволюционному житью. Пластинка сначала глухо шипела, а затем кто-то (он представлялся мне в черном фраке с бабочкой) бойким, почти развязным голосом объяснял, что изображается в музыкальной пьесе: «Переход евреев через Красное море». Я знал про Черное и Белое море, о Красном же не слышал. Было непонятно, как и зачем его переходили, вброд или вплавь. Но тут началась итало-абиссинская война 1935 г., и Красное море стало реальным, утратив сказочность той пластинки.

В сохранившемся детском дневнике я с 10 лет записывал, как происходила у нас встреча Нового года. В истории русской литературы бывали такие встречи Нового года, о которых можно только мечтать. Новый 1836 г. у князя В.Ф. Одоевского на Дворцовой набережной в Петербурге в дружеском кругу встречали Жуковский, Пушкин, Соболевский, И. Киреевский, М. Глинка и др. Много великих встреч было в прошлом. Куда только девались гении тех мест и воспоминания о них...

К новому 1940 г. мои родители получили заказанный из Ленинграда радиоприемник СВД-9 и унесли его на кафедру пединститута, где они работали и где в компании встречали Новый год. Мы с моим братом Виктором «пировали» на кухне новой четырехкомнатной квартиры, полученной летом отцом. Там было радио. В дневнике сохранилась запись: «За две-три минуты я побежал напоследок в 1939 г. поглядеть на все наши комнаты (заглянул даже в уборную). А как страшно было мне, что вот вдруг я опоздаю к 12.00 и это самое 00 застанет меня на бегу в коридоре!»

Чувствовалось, что уходящее через минуту невозможно вернуть или повторить. Возникло желание поймать за хвост исчезающего гения места и гения прошлого. 1941-й, год войны, мы встречали вместе с родителями в зале и уже с радиоприемником. На этот раз и я, и Виктор в последние минуты перед Новым годом на листах бумаги много раз писали цифру 1940, 1940, 1940, полагая, что через несколько минут мы не будем иметь права писать ее как сегодняшнее число. «После непрерывного перезвона с Кремлевской башни мы в течение почти минуты не знали, где мы находимся; диктор поздравил и заиграла музыка; сколько мы ни дожидались, ничего другого сказано не было». Так страна вступила в первый год войны, едва не кончившейся катастрофой. Рихард Зорге в сентябре сообщил, что Япония не вступит в войну против нас, и потому Сталин перебросил в октябре-ноябре большую дальневосточную армию на защиту Москвы. Об этом тогда не говорилось. Красная армия в декабре 1941 г. вдруг перешла в наступление.

Трагический 1942 г. встречали уже без прежних «глупостей» и без СВД-9, который по общему предписанию был сдан под расписку в Дом связи на главной улице города. Отец долго хранил у себя эту расписку, надеясь на обещанное возвращение. Но Дом связи сгорел, как и весь Воронеж. За час до нового 1942 г. было сообщено по радио о взятии нами Керчи и Феодосии. Но радость была недолгой, потому что вскоре мы отступили. Этот новогодний «подарок» стоил тысяч жизней.

Угроза прихода немцев в Воронеж стала вырисовываться для меня после взятия ими в июне 1940 г. Парижа. В это трудно теперь поверить, но именно взятие Парижа заставило меня думать. Я окончил четвертый класс, учился так себе, на «посредственно» и хуже. Был момент, когда я возвращался домой из школы и на углу переулка с маленьким деревянным домиком за квартал до нашего дома вдруг понял, что могу остаться без образования. Гений этого места сохранился навсегда. Мысль об этом так овладела мною, что стала главной в жизни и преследовала меня в течение почти двух лет пребывания на оккупированной немцами территории.

С сентября 1940 г. я взялся за учебу и сделался отличником. У ребят моего класса, которые не могли этого не заметить, одобрения такая «измена» не вызвала. Стал пропускать физкультуру, чтобы сберечь время для уроков. Для ребят физкультура, последняя в расписании, была главным развлечением. Когда я тайно уходил с физкультуры, они бежали за мной по лестнице с криком: «Держи профессора!»

Когда началась война и я перешел в шестой класс, нашу школу в сентябре заняли под госпиталь, а нас перевели в домик на Никитинской улице, изображенный позднее в романе Анатолия Жигулина «Черные камни». У нас был замечательный историк. Он рассказывал ребятам, как князь Святослав говорил врагам перед походом: «Иду на вы». Весь класс долго затем повторял и склонял это присловье.

II

22 июня 1941 г. я завтракал на террасе домика биостанции в Новоживотинном. После 12 часов прибежала сотрудница биостанции Наталья Сергеевна и сказала о выступлении по радио Молотова. Я ел творог, встал и вместе с матушкой пошел к радио в соседний домик. Молча прослушав речь, матушка тихо и как-то с

надрывом сказала: «Ну, значит, жизнь окончена». Прожила она после этого еще 35 лет. Я же с присущей молодости лихостью подумал: «Всё интересное только начинается».

В то первое военное лето в усадьбе Веневитиновых на Дону мы часто видели по вечерам кровавые закаты по другую сторону реки Дон. Наверное, они бывали такими и раньше, год-два-три назад, когда я летом жил в усадьбе Новоживотинное. Но только теперь все видели в этом отсвет тех страшных боев, что шли там, на Западе.

В предвоенные годы мы пели песню из кинофильма «Веселые ребята»: если враг нападет, «Тогда мы песню споем боевую / И встанем грудью за Родину свою». Песню в 1941 г. мы спели, несмотря на отсутствие оружия. И грудей при этом у нас оказалось в пять раз больше, чем у немцев. Да вот людей погибло тоже в пять раз больше. Победа была страшная.

Читатели «Войны и мира» как-то до конца не осознали великую мысль Толстого, что самыми важными участниками событий 1812 г. были не многочисленные герои. Обычным человеком этой войны был Алпатыч, делавший то единственное дело, которое поручил ему старый князь Болконский. Толстой приходит к выводу: «Большая часть людей того времени не обращала никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени». Это мнение не утвердилось в нашем обществе. Мы искали и находили героев. Такова человеческая натура. Толстой это тоже, конечно, знал. Но обыденная жизнь во время войны шла именно тем путем, о котором говорил Толстой. Так было и в 1941 г.

Мне вспомнилось лето 1939 г., когда в гостях у сестры моей матушки, Валентины Аполлоновны, в Сердобске Пензенской области, мы получили газету с известием о заключении 23 августа договора о ненападении с Германией. Я помню длинный стол, приставленный к стене, где собрались две семьи и пытались понять и постигнуть значение этого договора, ставшего столь же неожиданным, как и начавшаяся через два года война. Поговорив, так и разошлись, ни к чему не придя. Остался лишь дух мрачного опасения и тревоги. Бабушка, присутствовавшая на этом обсуждении и читавшая в свободное время книги об индусской философии, стала после этого часто повторять, как ей хочется дожить и посмотреть, чем все это кончится. Несмотря на свои 80 лет, она дожила-таки до конца войны, чтобы убедиться, чем это кончи-

лось... Когда после войны я приезжал к тетушке в Сердобск, то с памятью о прошлом смотрел на этот длинный стол у стены в передней комнате, где когда-то обсуждали только что заключенный договор. Стол стал гением места тех событий.

В долгие осенние и зимние вечера в Киеве и в Белой Церкви, куда мы попали при немцах, я заносил в Дневник запомнившиеся события, в особый отдел «Былое». О лете, проведенном в Сердобске, когда обсуждался советско-немецкий договор за длинным столом, я записал совсем иное: «Однообразно ленивая полуденная жара августовского солнца. Небольшой двор с курицами, коровником и вокруг фруктовый сад. Выйдешь ли в сад, в пыльный серый двор или сидишь в одной из комнат накаленного жарой дома, или даже залезешь на обжигающую голые ноги раскаленную железную крышу, чтобы сверху осмотреть улицы и двор, – везде отчаянное томление этого часа, этой минуты, этого дня. И знаешь, что завтра опять и опять будет то же. А что вам до этого? Если бы я писал, что очень радостно и весело, вы бы также приняли это к сведению и пошли по своим делам, писать письмо, пить чай, работать». День тянется невыносимо. Здесь нет моих тетрадей, всего моего. Тогда я еще не читал, не вел списка книг и не имел ничего, кроме младших и старших жителей дома. И все же одного я ждал весь день с нетерпением. Между двенадцатью и двумя часами почтальон опускал газету с улицы в почтовый ящик рядом с воротами. Эта газета интересовала меня только потому, что в ней бывали портреты и картинки, которые я вырезал. Иногда сразу, до прочтения газеты взрослыми, мало интересовавшимися газетой. Так почтовый ящик у ворот стал моим гением места, оправдывавшим для меня существование в этом жарком и скучном городке.

Уже тогда, записывая в 15 лет воспоминание о том моменте, когда мне было 11, я понимал, что тот мальчишка, обжигавший голые пятки на железной крыше и страдавший от «томления того часа», давно не существует, что принято называть словом «умер». И вот только у одного человека, который теперь живет и пишет это, сохранилась точная память, прямо живое ощущение того далекого. Но подобное яркое воспоминание сохранилось у него также о действительно умерших людях. И никакой разницы. Ничего нельзя изменить в воспоминании ни о себе, ни о других.

Получив от директора известие, что Воронеж будет сдан немцам, отец 3 июля 1942 г. вывез нашу семью из этого заветного уголка природы Новожиловинное в город. В памяти осталось, как телега

с нашими вещами (и бочкой бензина для собравшегося бежать директора Пединститута) рано утром выезжала из лесной тени усадьбы на залитую солнцем проселочную степную дорогу, ведущую к Задонскому шоссе. Я шел рядом и даже не оглянулся на то, что навсегда уходило в прошлое, в небытие. Левее дороги было старое сельское кладбище вокруг древнего кургана, на котором я любил лежать и мечтать о раскопке этого свидетеля жизни скифов.

События жизни складывались по книгам, тому времени и месту, где их читал. Когда немцы пришли 7 июля 1942 г. в Воронеж и мы сидели в бомбоубежище (вернее, в подвале дома, где нас засыпало бы при прямом попадании бомбы), я читал «Мертвые души» Гоголя. В Киеве в начале февраля 1942 г., когда на улице около оперного театра немцы громко транслировали траурную музыку по поводу поражения под Сталинградом, я читал «Тихий Дон» Шолохова. В январе 1944 г., когда Красная армия освободила Белую Церковь, куда мы перебрались после голода в Киеве, я читал переводы поэм Байрона («Шильонский узник», «Абидосская невеста»). В городе работала общественная библиотека, где я брал книги Шиллера, Мольера и Мериме. Путь в эту библиотеку через весь город стал памятным местом, где жил свой гений.

Война шла день за днем, а я имел возможность каждый день читать книги. В детстве вечером один в пустой комнате я читал, как Вию поднимали веки и он, указывая перстом то ли на философа Хому, то ли на меня, закричал: «Вот он!» И я весь съезжился от подступившего ужаса бытия, охватившего меня с небывалой дотоле силой. Эта пустая комната осталась гением места моего страха. Долгие годы после этого мне не хотелось перечитывать гоголевского «Вия».

Но вернемся к гению места. После того как 7 июля 1942 г. немцы взяли Воронеж, еще не видя немцев, я услышал об их деяниях. У ворот Пединститута было маленькое двухэтажное каменное здание, где за много лет до того, наверное в 1936 г., служила на агроучастке, на месте которого затем построили весь комплекс зданий Пединститута, моя тетушка Юлия Ивановна. Меня привозили на этот агроучасток с рядами аккуратно посаженных растений, среди которых я с любопытством гулял. Позднее, после войны, в этом сохранившемся каменном домике находилась кафедра зоологии, где работал мой отец. В сентябре 1948 г. его изгоняли из Пединститута как «вейсманиста-морганиста» за то, что он занимался гибридизацией рыб и даже признавал существование хромосом и законов

генетики, что было недопустимо во времена Лысенко и Сталина. Слова «генетика» и «кибернетика» считались тогда ругательными.

Так вот, в этом самом доме первый появившийся немец топором изрубил большой портрет Сталина, висевший на стене. Об этом говорили, и это запомнилось. Но были и иные немцы в эти дни их торжества и успешного продвижения к Волге. 12 июля двое танкистов 18-го танкового корпуса ночевали в нашем бомбоубежище. Мне было странно, что они не боятся спать там. После боя в районе Областной больницы (северный пригород) они говорили на другой день: «Русские чуть было не прорвали фронт. Еще бы минута, и...» Мы молча слушали рассказ танкистов. Много лет спустя я нашел в нашей военной литературе свидетельство того, что, действительно, в этот день советские войска предприняли попытку очистить город от противника, однако была занята лишь Областная больница на севере города. Бои шли на расстоянии немногим более километра от нашего бомбоубежища. Через несколько дней немецкая пехота выгнала все население района. Остался геней бомбоубежища нашего дома, который мы покинули навсегда.

Исход населения города за Дон никогда не описывался в литературе. Многое, что происходило с людьми, остававшимися на занятой немцами земле, можно встретить в книгах. Здесь прежде всего борьба партизан, знаменитых разведчиков, угон молодежи на работы в Германию и другие необычные события. Менее повезло повседневной, обыденной жизни во всех занятых немцами районах. Изгнание жителей Воронежа в течение июля проходило в несколько этапов. Сначала немцы очистили под угрозой расстрела всю северную часть города, где мы жили. Мы перебрались в подвалы университета. Бомба разворотила центральную часть библиотеки. На полу лежали приготовленные к эвакуации узкие деревянные ящики с латинскими книгами, время издания которых я определял по римским цифрам на титуле. То были XVI и XVII вв. Я участвовал в переносе этих книг в отдельную комнату, потому что они оказались под дождем из-за разбитой бомбой стены.

Но это продолжалось недолго. Через несколько дней немцы стали зачищать центр, выгнали всех из здания университета, и мы перешли к знакомым в южную часть города. И так до последних улиц города, откуда немцы методично выдавливали всех, кто там оставался. Неспособных к передвижению просто убивали, как французы пленных русских в романе «Война и мир».

И вот возникает памятное место на пути к переправе через Дон. На обочине дороги, по которой движется поток воронежцев в изгнание, сидит мужик, как будто Платон Каратаев на краю дороги у березы на пути из Москвы. Он неспешно снял с ног сапоги, вынул из них кучу бумажных советских денег и выбросил на землю. Они разлетелись в стороны. Никто не обратил внимания, не удивился. Народ медленно шел мимо. Всем все было понятно. Я тоже внимательно посмотрел и лишь потом, много месяцев спустя, вспоминал этот случай.

На этой дороге в изгнание бывали забавные случаи. Вспоминается один, связанный не столько с гением места дороги, сколько с белой козой. Седой мужчина нес на плечах тяжело вздыхавшую и стонавшую козу. Как только он опускал ее на землю, чтобы передохнуть, она в изнеможении валилась на бок. Выбившись из сил, хозяин козы горько жаловался: у него было несколько килограммов муки, и ему не хотелось бросать их. Но и нести не мог – было много другого груза. Чтобы не нести муку, он решил скормить ее козе. Съев мучные лепешки, коза занемогла и не стояла на ногах. Бедному человеку пришлось нести ее на плечах. Никто не смеялся. У всех были свои заботы. Мы катили коляску с вещами, которую отец соорудил накануне, купив у кого-то ось с колесами.

Вид этой колонны беженцев, в течение нескольких дней медленно перетекавшей по узкой грунтовой дороге к Дону, совсем не напоминал картину движения военных беженцев в Польше в сентябре 1939 г. Там хорошо одетые люди с модными велосипедами, гужевым транспортом и даже автотранспортом, с чего начинается фильм Анжея Вайды «Катынь», движутся по заасфальтированной дороге. Здесь, в Воронеже, шла толпа в странной одежде, старой и поношенной, молчаливая и понурая, надеявшаяся выжить и уцелеть до переправы и на переправе, которую бомбили советские самолеты. У Данте есть картина Ада, но великий поэт не описал очередь из тех, кто ожидает входа в Ад. Вот такое впечатление от процессии к Дону сложилось бы у того, кто мог наблюдать это со стороны. И, наконец, последнее. Когда мы покидали город, он, несмотря на бомбежку, был в основном цел. Когда мы вернулись через два года, почти все большие здания были сожжены, многие уже после освобождения. Очевидно, действовала та же закономерность, которую отмечал Л. Толстой в Москве 1812 г.: «Вступившие в разоренную Москву русские, застав ее разграбленною, стали тоже грабить». О грабежах и поджогах Воронежа после освобождения не было принято говорить.

Перейдя Дон, через несколько дней мы дошли до поселка Хохол, где на лугу расположились тысячи беженцев. И вот по единственной улице мимо нас шествует большой, сотенный отряд немцев. У меня возникает фантазия: если бы был автомат, расстрелял бы я этих немцев. Но тут же приходит мысль, что в таком случае все тысячи беженцев здесь и во всей округе были бы уничтожены. Это как-то сразу снижает мой ребячий задор.

Немцы проверяют документы, сортируют людей, отправляют в соседние поселки, научных работников к станции Латная и далее поездом на запад. И вот мы приезжаем в начале августа в Киев. Особенно запомнился выход на привокзальную площадь. В этот момент и в этом месте я впервые открыто на улице надел на нос очки. Теперь это трудно понять, но в то далекое довоенное время никто из ребят не носил очки. Если бы я пошел по улице в очках, ребята всей округи подняли бы меня на смех.

Местом обитания моего гения в Киеве стал дом 23 на Пушкинской улице в центре города. На шестом этаже с неработающим лифтом находилась большая четырехкомнатная квартира с балконом, дающим обзор осенней красоты прекрасного русского города. Во всяком случае, за год жизни я слышал там только русскую и немецкую речь.

Еще одно памятное место в Киеве – маленькая часовенка у могилы древнего царя Аскольда на пути к Киево-Печерской лавре. Немцы устроили в ней какой-то склад с часовым при входе, а за ней в сторону Днепра простиралось огромное поле с тысячами одинаковых могильных с черной свастикой крестов. Между рядами ходили немцы и немки, люди из совершенно иного мира. Казалось, свезли убитых со всей Украины. Что теперь делается на этом пространстве, которое явно было не по душе сопровождавшему меня гению места?..

С гораздо большим интересом гений места проехал на катере в один из жарких августовских дней на Труханов остров, тогда довольно пустынный городской пляж. Наверное, он мало чем напоминал знаменитый довоенный киевский пляж. До немецкой катастрофы в Сталинграде в Киевскую оперу билеты продавали и киевлянам. Так, мне довелось слушать «Травиату», сидя в амфитеатре рядом с молодым немецким солдатом, разговаривавшим со мной вполне доброжелательно. В новом году, после Сталинграда, вход украинцам и русским в киевскую оперу был строжайше запрещен. «Только для немцев» (Nur für Deutsche). Это стало главным в отношении к киевлянам. Оставался только Дом ученых на той же Пушкинской улице, где я стал работать в библиотеке. Но и это продолжалось недолго.

В апреле 1943 г. мы переехали в Белую Церковь, а Дом ученых немцы, как нам рассказывали, вскоре закрыли. В Киеве не было ни библиотек, ни постоянных книжных магазинов, но книги и даже школьные учебники можно было приобрести на рынке, где торговали всем чем угодно. Источником книг для меня стал Дом ученых. Я был хранителем библиотеки, имел доступ ко всему небольшому фонду книг художественной литературы в двух комнатах. Для начала я просмотрел заглавия почти всех книг на полках. Книги никто не спрашивал, абонемент для выдачи не существовал. Я взял «Фрегат “Паллада”» Гончарова и читал, стоя в долгой очереди для получения пособий. Две старушки, тоже стоявшие в очереди, узнав, что я читаю, разошлись в мнениях о романе и стали спорить о достоинствах и недостатках («скучно», «описание природы»).

Надо было обеспечить себе чтение на будущее, тем более что отец давно уже собирался перевезти нас из голодного Киева в сельскую местность. Я ежедневно ходил на работу в библиотеку. Книгами никто не интересовался («Поначитались уже что ли?» – думал я), и я решил пополнить домашний запас чтения. Так я стал обладателем романа Гюго «Человек, который смеется». Это был толстый том, я не успел прочитать его в Киеве и взял с собой при переезде в Белую Церковь. Там я читал в первую очередь русскую классику, книги которой брал в открывшейся в городе частной библиотеке.

Днем, пока было светло, я готовился по учебникам 8 класса (программу 7 класса я освоил еще зимой в Киеве и в пригороде Пуца Водица, где скрывался от присланной повестки на работы в Германию). Длинный зимний вечер в домике в Пущей Водице. Глеет тусклый фитилек коптилки, керосиновую лампу давно не зажигаем. Окно выходит в лес, и когда по вечерам я остаюсь один (родители на работе в Киеве), то завешиваю окно какой-то старенькой материей с оборванными углами, чтобы «кто не заглянул». С каждым разом ее все труднее цеплять за гвоздь. Слабенький мигальник освещал только верхнюю половину страницы. Последние строки стараешься пробежать быстрее, чтобы «не портить зрения». Но выходит наоборот: торопишься и не улавливаешь смысл, приходится со сморщенным лбом перечитывать снова, раздраженно повторяя вполслуха: «...старинный сад: липы тянулись по нем аллеями, стояли сплошными купами; заматерелые сосны с бледно-желтыми стволами...». С бледно-желтыми стволами... бледно-желтыми. И стараешься себе представить, какие это такие тургеневские бледно-желтые сосны были в саду у Ипатова

(«Затишье»). Но и при таком мерцающем фитильке можно было делать краткие записи в Дневнике. Зато с утра, как только рассветало, я вновь брался за книги. Я мог читать весь день.

Летом, после переезда под Белую Церковь, распорядок жизни моей сохранялся. Препятствием стало лишь то, что в бывшем совхозе Роток, где мы поселились, немцами была установлена трудовая повинность. Местных молодых девиц и меня, как единственного там парня, отправляли на весь день полоть и обрабатывать землю в бесконечных полях капусты. Девицы моего возраста (мне уже исполнилось 15) и постарше уходили в дальний конец поля, а я с тяпкой и спрятанной в куртке частью «Человека, который смеется» располагался в середине поля. Толстую книгу пришлось расчленить на несколько частей, входящих в карман. Сделав для вида несколько ударов тяпки, я садился, доставал расчлененные страницы и читал про уродование детей компрачикосами. Это было немногим интереснее, чем полка капусты, и через полчаса я вставал и изображал активную полевую деятельность. Солнце припекало, и я вновь садился, ложился на землю и вытаскивал из кармана следующую главу, напечатанную (как помнится) на какой-то серой газетной бумаге (очевидно, это было массовое издание романа Гюго в 1938 г.). Потом брался за тяпку и капусту. С собой я брал какую-то еду и так проводил весь день. Результаты работы немцы не проверяли, а нашим и дела не было. Только девицы, заинтересовавшиеся моим удаленным одиноким трудом, стали говорить соседям: «До чего ленивый парубок: всю работу лежит!» Так «тихо дни мои текли», создавая свой гений места вдали от людей.

В августе 1943 г. я погрузился в чтение «Войны и мира» и 25 числа записал в Дневник: «Десяток таких книг, как “Война и мир”, и, пожалуй, больше бы не надо было бы вообще читать беллетристику. Даже “Обломов”, “Отцы и дети”, “Господа Головлёвы” – не то. Только разве рассказы Чехова могут сравниться с “Войной и миром”».

В дневнике тех дней я записывал свою скорбь об утраченных в Воронеже двух шкафах дедовских книг. «Нет! Вы не можете себе представить, что значит *два шкафа книг*, тем более, что значит потерять эти *два...* Каждый шкаф имел по пять полок, итого 10. На каждой полке 40–50 книг, не считая того, что на некоторых полках два ряда. 500 книг по скромным подсчетам, а на самом деле более 800». И эта запись оканчивается обращением к дню текуще-

му: «Если бы я имел столько же времени, сколько все эти Пьеры Безуховы, Андреи Болконские, Николаи Ростовы...»

В киевские годы был еще один гений места, запомнившийся мне на всю жизнь. В сентябре, когда подступил голод, мы с Нюрой (Анной Ивановной Тропыниной, моей няней, сопровождавшей нашу семью в годы оккупации) отправились на левый берег Днепра в Дарницу за картофелем. Шли долго через мост к длинным деревянным столам на базаре в Дарнице. Вокруг ничего не было. Продавали картошку значительно дешевле, чем в Киеве на Бессарабке, я только не мог понять, почему. Мне казалось, что вещь должна стоить одинаково в разных местах, как в советские времена. О рынке никакого представления. Взвалив на плечи по пуду-полтора, мы двинулись обратно из этого пустынного места, которое осталось в памяти как некая «инания», где действовали другие, необычные законы.

После освобождения Киева 6 ноября 1943 г. фронт остановился на полпути до Белой Церкви, около Василькова. Немцы сгоняли молодых парней на прифронтовые работы, потому меня перевели в близлежащую деревню Песчаная, в хату, где было еще два парубка моих лет – Петро и Андрей. С ними я прятался от немецких солдат на чердаке, на сеновале. Однажды немцы нагрянули неожиданно, и меня упрятали в постель под одеяла. Солдаты требовали масло, яйца.

Еще до освобождения Киева, в середине октября 1943 г., по ночам в Песчаной был слышен далекий гул артиллерии, дрожали стекла в хате. Выходили во двор, горизонт гудел где-то на востоке или северо-востоке. Ракеты повисали далеко в небе и медленно затухали. Осветится полнеба, но грохота не слышно – далеко. Стало тихо и темно. Но вот за полем заструился мерцающий свет, то усиливаясь, то ослабевая. Горизонт вспыхнул красномедным заревом, и вдруг все потухло.

Уже было ясно, что придут. Но днем бабы и немногие мужики работали на поле – пахали, боронили, везли куда-то. Утром при встрече вспоминали ночной гул, и тут же – разговор про капусту, картошку, солому. Пройдя с плугом ряд, сядут отдохнуть, кто-нибудь начнет рассказывать про случай на фронте. «Слышь, Андрей, гудит...». – «Гудит...» И снова за работу. Прямо как в «Войне и мире» о поездке Алпатыча в Смоленск.

Немцы забирали мужчин на окопные работы. Вечером отпускали домой. Отец несколько дней ходил на такие работы. Одна

женщина выкупила своего деда у немцев за водку и корзинку яиц. Немцы поселились в нашем доме на Рыбгоспе, как назывался этот поселок-ферма на окраине Белой Церкви. Но вскоре немцы сняли мины, стоявшие на соседнем шоссе, и собрались уходить. Сосед, выкупленный с окопных работ, рассказывал, что спали они на голом полу без соломы. Отдельно содержались пленные красноармейцы, которым было еще хуже. С 10 декабря советские самолеты стали бомбить Белую Церковь и Киевское шоссе; артиллерийская стрельба слышится почти весь день и всю ночь.

Из Песчаной я иногда ходил за книгами домой в Рыбгосп. Однажды возвращался в Песчаную ночью. Морозило. Я шел через поле по замерзшей дороге, обсаженной по сторонам тополями. Декабрьская ночь была темная, и лишь луна слегка освещала путь. И вдруг в душе зазвучали совершенно по-новому знакомые с детства слова:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Природа внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В памяти были слова «Природа внемлет», а не лермонтовское «Пустыня внемлет», поскольку со словом «пустыня» у меня были связаны совсем иные ассоциации. Картинка с ночной дорогой, как фотокарточка, запечатлелась навсегда в своей неизменности. Лучшее стихотворение русской поэзии с тех пор воскресало во мне и в иных случаях. Но осталось то декабрьское, с тополями по сторонам. Самый сильный гений места того времени.

В сохранившемся Дневнике записи этих дней: «Опять в селе Песчаное ловили мужиков – все в болото, я на чердак. 28 декабря. Сегодня вечером из Песчаной и других пригородов выехали немцы, полицаи. Пленных из концентрационного лагеря уже давно перевели к Виннице, а оставленные здесь сегодня вечером разбежались. Вчера немцы выселили хозяев из крайней хаты на Ротке, окружили ее со всех сторон; подъехала машина с несколькими арестованными со связанными руками. Их ввели в хату, закрыли, побрызгали горячим и зажгли... Поздним вечером и ночью очень сильная стрельба, слышен свист снарядов, бесконечная дробь пулеметов, в городе пожар, но зарево невелико, потому что сильный туман. Вспышки освещают всю комнату, от некоторых ударов колышется весь дом. Через село проехало около пятнадцати немецких машин».

В прифронтовой полосе мы жили два месяца. В этом гении места власти не было никакой. Гражданские власти (как когда-то в Воронеже) эвакуируются и распадаются. Немцы приходят и уходят, грабят или вдруг предлагают что-то продать. Стихия безвременья.

Присутствие немцев кончилось 4 января 1944 г., когда мы в деревне увидели обоз, мирно везущий через Песчаную воинский скраб. В Дневнике записал: «У н. мы были 551 день». После немецкой техники этот медленно движущийся обоз вызвал удивление. Боев вокруг уже не было. Белая Церковь была занята Красной армией, но с юго-западной стороны слышался артобстрел, городок Тараща переходил из рук в руки. В Белой Церкви, куда мы перебрались 30 января, не раз возникала тревога, а однажды даже собирались эвакуировать население из-за сложной обстановки на фронте.

Окончательно перевезли из деревни и пригорода Роток (Рыбгосп) все наше добро на шести подводах 10 февраля. Мы обосновались в выданном отцу небольшом домике на Бендюжной улице, где до войны жили евреи (в стенах дома я обнаружил папирусы с еврейскими молитвами). В домик вскоре вселились наши солдаты-артиллеристы, советовавшие мне идти в артиллерию. Этот дом стал моим новым гением места.

Здесь я продолжил вести начатый с началом войны Дневник. 6 февраля 1944 г. в нем появилась запись, навеянная, как и многие, чтением «Круга чтения» Толстого: «Из книг не вынесешь ничего нового. Новое дает только жизнь – она всегда нова, потому что сегодня не походит на вчера, так же как день не походит на утро и день не походит на вечер».

Неужели человек, писавший этот многостраничный Дневник, мой Дневник, жив? В это трудно поверить, ибо тот гений места, который обитал полгода, давно исчез, не существует. Осталась память, особенно если она записана в Дневнике. Но память – это не живой человек, а всего лишь воспоминание о том давно не существующем человеке, который жил и радовался тому, что записал 23 февраля 1944 г.: «Сегодняшний день Красной армии запомнится мне надолго: сегодня мы получили электроосвещение после полуторагодовой вечерней темноты немцев».

Прошлые гении места не остаются только в прошлом. Они – часть современной жизни. Настоящее не существует без прошлого. Самым обширным и главным гением места остается у меня, как и у многих людей старшего поколения, – война с 1941 по 1945 г.